

2. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ



Г. ЧУЛКОВ

Александр Блок и его время

1

Имя Александра Блока я впервые услышал из уст Анны Николаевны Шмидт¹, особы примечательной и загадочной, чья судьба, как известно, была связана с судьбою Владимира Соловьева. Встретился я с Анною Николаевною Шмидт вот при каких обстоятельствах. В 1903 году я жил поневоле в Нижнем Новгороде. Меня вернули из Якутской области, но в столицах жить не разрешили, и я без паспорта, под гласным надзором полиции, жил в чужом городе, не зная, что с собою делать. Я в это время писал с увлечением стихи. Стихи были несовершенные по форме, — даже странно перечитывать, — а между тем в них была некая лирическая правда, насколько лирика может быть правдивою. И вот однажды ровно в полночь ко мне явилась незнакомая старушка и объявила, что намерена прочесть мне сейчас же, в эту ночь, свою рукопись — «Третий Завет». Она тут же вытащила из большого сака, вышитого бисером, несколько тетрадей и, между прочим, только что вышедшую тогда мою первую книжку стихов «Кремнистый путь»². Эта странная старушка была та самая А. Н. Шмидт, чьи сочинения вместе с письмами к ней Владимира Соловьева были опубликованы в 1916 году, т. е. спустя десять лет после ее смерти (она умерла 7 марта 1905 года).

Анна Николаевна раскрыла мою книжку и указала мне на три мои стихотворения — «О, медиума странный взор...», «Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянью дня...» и, наконец, мое стихотворное переложение «Песни Песней».

— Это мне дает право требовать от вас внимательного отношения к моему «Третьему Завету», — сказала она тихо и торжественно.

В самом деле, хотя я никогда лично не знал Владимира Соловьева и заочно не имел с ним связи, если только не считать косвенного к нему касания через его брата Михаила Сергеевича Соловьева († 16 января 1903 г.), который был моим учителем в Шестой классической гимназии и всегда относился ко мне благосклонно, все-таки в душе моей бессознательно преобладала тогда тема «софианства», соловьевская тема, с ее ослепительным светом и с ее мучительными противоречиями. Это сказало-сь и в моих стихах. Анна Николаевна Шмидт тотчас же почувствовала во мне «своего человека», и немудрено, что мы заговорили об Александре Блоке, об этом духовном наследнике Соловьева, успевшем тогда напечатать цикл стихов в «Северных цветах» и «Новом пути»³.

Моя книжка вышла в 1903 году и помечена на обложке 1904 годом. Спустя год вышла книжка Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Книжка датирована 1905 годом. Обе книжки — моя и Блока — вышли в Москве, а цензурой были пропущены в Нижнем Новгороде: в то время там цензором был Э. К. Метнер, брат композитора, впоследствии сотрудник «Золотого руна» и «Мусагета». К счастью или к несчастью, моя тогдашняя лирика обратила на себя внимание З. Н. Гиппиус, и, по ее инициативе, Поликсена Сергеевна Соловьева напечатала в «Новом пути» статью обо мне⁴. Эта статья определила мою судьбу: получив разрешение на жительство в Петербурге (ныне Ленинграде), я прежде всего пошел к Мережковским. В том же 1904 году в их доме я познакомился с А. А. Блоком.

При первых встречах моих с Блоком мы, кажется, несколько дичились друг друга, хотя успели перекинуться «символическими» словами: «софианство» сближало нас, но оно же и ставило между нами преграду. Я, причастный этому внутреннему опыту, страшился его, однако. И этот страх перед соблазном нашел себе впоследствии выражение в моей статье «Поэзия Владимира Соловьева», на которую отозвался Блок примечательным письмом⁵. Но об этом письме — после.

В самом раннем сохранившемся у меня письме Блока встречается имя А. Н. Шмидт. Письмо написано 15 июня 1904 г. В это время Блок был в Шахматове. Из письма видно, что А. Н. Шмидт приезжала к Блоку в деревню в мае месяце⁶. Встреча ее с поэтом так же провиденциальна, как встреча ее с Владимиром Соловьевым. Она явилась как бы живым предостережением всем, кто шел соловьевскими путями. Мы все повторяли гётевское «Das Ewig Weibliche zieht uns hinan»...⁷ Однако вокруг «вечно женственного» возникали такие марева, что

кружились не только слабые головы, но и головы достаточно сильные. И «высшее» оказывалось порою «бездною внизу». Старушка Шмидт, поверившая со всею искренностью безумия, что именно она воплощенная София, и с этою странною вестью явившаяся к Владимиру Соловьеву незадолго до его смерти, — это ли не возмездие одинокому мистику, дерзнувшему на свой страх и риск утверждать новый догмат? Я имел случай теперь — в 1922 году — изучить некоторые загадочные автографы Владимира Соловьева, до сих пор не опубликованные⁸. Эти автографы — особого рода записи поэта-философа, сделанные им автоматически в состоянии транса. Это состояние (как бы медиумическое) было свойственно Соловьеву по временам. Темой соловьевских записей является все она же — «София», подлинная или мнимая — это другой вопрос. Во всяком случае, характер записей таков, что не приходится сомневаться в «демоничности» переживаний, сопутствовавших духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот.

Сам Блок верил, что в эту эпоху, т. е. до 1905 года, ему был ведом особый — светлый мир, исполненный благодатной красоты и благоухания. На первой книге стихов, переизданной «Музагетом» в 1911 году, Блок сделал мне такую надпись: «Георгию Ивановичу Чулкову с любовью, с просьбою узнать и эту, лучшую часть моей души». Подпись: «Александр Блок». Дата: «Май 1911. СПб.». И все так думали, что в стихах о Прекрасной Даме поэт выразит свое заветное и светлое. И я так думал, не переоценивая того внутреннего опыта, который понудил Блока славить Тайнственную Возлюбленную. Теперь — признаюсь — у меня возникают большие сомнения об источнике этих очарований. Эти сомнения — кажется — бывали во мне и раньше, но лишь в последние годы я убедился, что есть такая «тайная прелесть», которая ужаснее иногда «явного безобразия».

В сущности, если вчитаться внимательно в первую книгу Блока, нетрудно в ней найти все мотивы, которые впоследствии нашли себе более полное выражение в «Нечаянной Радости» и «Снежной ночи». «Балаганчик» был уже весь в предчувствиях, и нужен был только срок для его воплощения. Еще в 1902 году Блок чувствовал, что в его Прекрасной Даме — «великий свет и злая тьма»... Об этом у него было точно сказано в стихотворении «Я тварь дрожащая. Лучами...».

Но знаешь Ты, какие цели
Таишь в глубинах Роз Твоих,
Какие Ангелы слетели,
Кто у преддверия затих...

В Тебе таятся в ожиданьи
 Великий свет и злая тьма —
 Разгадка всякого познания
 И бред великого ума.

Вот это смешение света и тьмы — характернейшая черта всякого декадента. И в этом смысле Блок всегда был декадентом. Но первое впечатление от него, как личности, было светлое. Блок был красив. Портрет К. А. Сомова⁹ — прекрасный сам по себе, как умное истолкование важного (я бы сказал — «могильного») в Блоке, не передает вовсе иного существенного — живого ритма его лица. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками скрипок. В Блоке, в его лице, было что-то певучее, гармоническое и стройное. В нем воистину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом Бекетовым, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта¹⁰. Было что-то германское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера и Гёте или, быть может, Новалиса. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержанные, строгие, ритмичные. Он был вежлив, как рыцарь, и всегда и со всеми ровен. Он всегда оставался самим собою — в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане, в обществе эстрадных актрис. Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое — вот это, должно быть, и поразило Сомова. Поэту как будто сопутствовал ангел или демон смерти. В этом демоне, как и в Таинственной Возлюбленной поэта, были

Великий свет и злая тьма...

Но демона в начале нашего знакомства с Блоком я не увидел. Я, как и все тогда, был очарован поэтом. После двух-трех встреч в доме Мережковских и в редакции «Нового пути» мы стали бывать друг у друга. Редакция журнала помещалась тогда в Саперном переулке, и я жил в квартире редакции, а Блок жил в казармах л.-гв. Гренадерского полка, на набережной Большой Невки, в квартире своего отца, Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Здесь, если не ошибаюсь, я познакомился с женою поэта, Л. Д. Блок (рожденная Менделеева). В те дни (это был первый год их супружества) они казались какими-то беглецами от суеты, ревниво хранящими тишину своего терема от иных, «не сказочных» людей. Я тогда еще не предвидел, какую роль сыграет Блок в моей жизни. Любовь Дмитриевна, жена поэта, говорила мне впоследствии, что она и Александр Александров-

вич смотрели на меня тогда как на «литератора», — термин не слишком лестный в их устах. Сблизился я с Блоком позднее, приблизительно через год, за пределами «литературы». Тогда он представился мне в ином свете, и он перестал смотреть на меня деловито, как на «ближайшего сотрудника» «Нового пути». Мы нашли общий язык, не для всех внятный. Этот тогдашний «эзотеризм» теперь едва ли кому понятен. Впрочем, о нем все равно не расскажешь, как должно. А психологическая обстановка нашей жизни была вот такая. Это было время, когда на Дальнем Востоке решалась судьба нашего великодержавия. Тревожное настроение внутри страны, наше военное поражение, убийство 15 июля министра внутренних дел В. К. фон Плеве, сентиментальное министерство кн. Святополк-Мирского и, наконец, именной «высочайший указ о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» — это 1904 год, эпоха либеральных банкетов, провокаторской деятельности департамента полиции, канун 9 января...

Умер А. П. Чехов, умер Н. К. Михайловский — сумерки русской провинциальной общественности исчезли безвозвратно. Страшное пришло на смену скучного. И правительство, и наша либеральная интеллигенция не были готовы к событиям. Почти никто не предвидел будущего и не понимал прошлого. Н. К. Михайловский в одной из своих последних статей с наивной искренностью недоумевал, почему у нас появились декаденты. Там, на Западе, — думал он — декаденты пришли закономерно: это плод старой, утомленной, пережившей себя культуры, а у нас, мы ведь еще только начинаем жить?..¹¹ Эта мысль Н. К. Михайловского чрезвычайно типична для нашей полуобразованной интеллигенции. Тысячелетней русской истории как будто не существовало. Допетровская Русь была безвестна: никто не любопытствовал, кто и как создал памятники нашего старинного зодчества; никто не подозревал, что уже в пятнадцатом веке на Руси были художники, которые являются счастливыми соперниками итальянцев эпохи Возрождения. А императорская Россия привлекала внимание интеллигентов только в той мере, в какой за эти двести лет развивалось у нас бунтарское и революционное движение. Константин Леонтьев, полагавший, что огромная тысячелетняя культура России нашла себе завершение и что ее дальнейшая жизнь подлежит сомнению, вовсе не был понятен большинству. А между тем пришли декаденты и фактом своего существования засвидетельствовали, что мы вовсе не новички в истории. Таких декадентов не выдумаешь. Это

были подлинные поэты, и они пришли, как вестники великого культурного кризиса. <...>

Одним словом, мы встретились с Блоком в те дни, когда торжествовала не «органическая», а «критическая» культура, когда были утрачены связи с коренным и «почвенным». Поверхностная оппозиционность и вольнодумство средней интеллигенции не могли удовлетворить ни будущих наших «коммунистов», ни тех, кому навязали прозвище «декадентов». Двадцать лет тому назад уже повеяло духом революции. Сонное царство Александра III, несмотря на декорацию пасифизма, всем опостылело. Если бы на его смену пришел какой-нибудь новый великий Петр, может быть, монархия нашла бы еще в себе силы и волю к жизни, но на престоле сидел несчастный слепец и упрямец, типичный «последний монарх». Он был самый подходящий царь для эпохи «ликвидации дворянского землевладения». И вовсе не случайно именно Александр Блок, поэт-декадент, написал «по неизданным документам» трезвую и беспристрастную книжку «Последние дни императорской власти»¹².

<...>

В какой среде жил в это время Блок? 1904 год был весь под знаком Мережковского — Гиппиус. Дом Мурузи на Литейном проспекте¹³ был своего рода психологическим магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы.

«Дом Мурузи» играл ту же роль, какую впоследствии играла «Башня» Вяч. Ив. Иванова¹⁴.

Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в Летнем саду на утренней ежедневной прогулке, думал, глядя на его маленькую фигурку, узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незримыми нитями с Владимиром Соловьевым, значит, и с Достоевским — и далее с Гоголем и Пушкиным. Пусть Соловьев относился к Мережковскому недружелюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам пророческой и гениальной. Блок так это чувствовал. Правда, он то и дело «уходил» от Мережковских, но потом опять неизбежно к ним тянулся¹⁵. Впрочем, тогда все «символисты» и «декаденты» изнемогали в любви-вражде. Все, как символисты, хотели соединиться¹⁶, и все, как декаденты, бежали друг от друга, страшась будто бы соблазна, требуя друг от друга «во Имя», этим знанием «Имени», однако, не обладая.

В доме Мережковских был особого рода дух — я бы сказал, сектантский, хотя они, конечно, всегда это отрицали и, вероят-

но, отрицают и теперь. Но такова судьба всех религиозных мечтателей, утративших связь с духовной метрополией. Иногда казалось, что Мережковский «рубит сплеча», но когда он, бывало, уличит какую-нибудь модную литературную «особу» в тупеньком мещанстве и крикнет, растягивая своеобразно гласные: «Ведь это пошла-а-асть!», невольно хотелось пожать ему руку. Как бы ни относиться к Мережковскому, но отрицать едва ли возможно ценность его книг о Достоевском и Толстом и особенно о Гоголе¹⁷. А в то время эти книги были приняты символистами, и в том числе Блоком, как события.

Мережковский с большим основанием мог бы сказать, как сказал про себя В. В. Розанов: «Пусть я не талантлив: тема-то моя гениальна!»

К историческому христианству предъявлены были огромные неоплаченные векселя. Мережковский закричал, завопил, пожалуй, даже визгливо и нескладно, но с совершенною искренностью, о правах «натуры и культуры», о том, что ведь должна же история иметь какой-то смысл, если она тянется после Голгофы две тысячи лет. Холодный, но честный пафос Мережковского и тонкая, остроумная диалектика З. Н. Гиппиус гипнотически действовали на некоторых тогда еще молодых, а ныне уже вполне сложившихся людей, из коих некоторые покинули даже наш бранный мир.

Кружок Мережковских, где бывал и Блок постоянно, состоял из людей двух поколений — старшее было представлено В. В. Розановым, Н. М. Минским, П. С. Соловьевой и др., младшее — А. В. Карташевым, В. В. Успенским, Д. В. Философовым, А. А. Смирновым, Е. П. Ивановым, Д. Н. Фридбергом, Леонидом Семеновым, В. А. Пестовским (Пястом) и мн. др. Не все в равной мере находились под влиянием Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича, но почти все были в них немного «влюблены».

Полулежа на мягком диване и покуривая изящно тоненькую душистую папироску, З. Н. Гиппиус чаровала своих юных друзей философическими и психологическими парадоксами, маня их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, и нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских — ускользал из этих сетей и вновь в них попадал. Как же Мережковские относились к Блоку? В последнем, декабрьском, номере «Нового пути» за 1904 год появилась статья о книге поэта, подписанная буквою «Х»¹⁸. Она, кажется,

выражает довольно точно отношение к Блоку обитателей дома Мурузи. <...>

Несправедливо было бы понять этот отзыв как простое брюзжание «отцов» на «детей». В нем была действительно честная требовательность, справедливое желание подчинить туманную неопределенность какому-то высшему смыслу. И все же Мережковские «влюбились» в Блока и каждый раз страдали от его «измен».

В салоне Мережковских беседы велись на темы «церковь и культура», «язычество и христианство», «религия и общественность». Тема политики в точном смысле стала занимать Мережковских значительно позднее, когда у них завязались противоестественные отношения с социалистами-революционерами. Тогда Мережковские до этого еще не дошли. <...>

Был в это время — я говорю про 1904 год — еще один дом, который посещал нередко А. А. Блок. Это — дом Федора Кузьмича Тетерникова (Федора Сологуба). Федор Кузьмич жил на Васильевском острове в доме городского училища, где он служил в качестве инспектора. Собрания у Сологуба были иного характера. Преобладали не чаяния нового откровения, а поэзия по преимуществу. В доме с холодноватою полуказанной обстановкою жил Федор Кузьмич с своею сестрою Ольгою Кузьминичною, тихою, гостеприимною, уже не молодою девушкою. Гостей сажали за длинный стол, уставленный яствами, угощали радушно вкусными соленьями и какими-то настойками. А после угощенья поэты переходили в кабинет хозяина, где по требованию мэтра покорно читали свои стихи, выслушивая почтительно его замечания, чаще всего формальные, а иногда и по существу, сдобренные иронией. Все было с внешней стороны по-провинциальному чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бытом и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченнейшей поэзии.

Но близилась другая эпоха. Декадентские «кельи» и «тайные общины», под напором внешних событий, должны были утратить свой замкнутый конспиративный характер. Мережковские первые возжаждали «общественности». Однако новые люди, приглашенные в редакцию «Нового пути», прожили мирно всего лишь три месяца. После редакционного кризиса журнал прекратил свое существование. На развалинах «Нового пути» возникли «Вопросы жизни»¹⁹.

Этот 1905 год ознаменовался для меня сближением с Блоком, но в этот же год у меня с ним был спор о Влад. Соловьеве. Поводом была моя статья «Поэзия Владимира Соловьева»²⁰. Пе-

чатные возражения на эту статью С. М. Соловьева и С. Н. Булгакова имели свои основания. Возражения Блока были другого порядка. Ему, в сущности, не было надобности спорить со мною в этом пункте, но он все-таки спорил и, как мне казалось тогда, ломился в открытую дверь. Блок спорил не со мною, а с самим собою. Он боялся тех выводов, на которые я решался, исходя из тех же представлений о Соловьеве, как и он. Драма моих отношений с Блоком заключалась в том, что я всегда старался обострить темы, нас волновавшие, поставить точку над «i», а он предпочитал уклоняться от выводов и обобщений. Это с его стороны не было просто робостью. Он был насквозь лиричен, а из лирики нет исхода. Блок был в заколдованном кругу. А я спешил пройти все этапы тогдашних мыслей и переживаний, интуитивно чувствуя, что лучше все это романтическое зелье выпить до дна и, может быть, впредь уж не искать жадно опасной чаши. Блок медлил ее испить, боясь похмелья. Как поэт, пожалуй, он был прав. Если в самом деле «слова поэта суть уже его дела»²¹, Блок исполнил свой подвиг до конца. Таково, должно быть, было его предназначение. Но и я не сожалею о том, что поторопился тогда броситься навстречу опасности. Лично и биографически я был за это жестоко наказан; но зато я преодолел в конце концов и последний соблазн, так называемый «мистический анархизм», сначала принятый Блоком, а потом им отвергнутый — увы! — только на словах. Жизненно, реально, он так и остался «мистиком-анархистом» до конца своих дней, в чем я убедился из беседы с ним в Москве незадолго до его кончины²².

Историческую декорацию 1905 года легко себе представить, но мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такою острою напряженностью, какую едва ли можно сейчас выразить точными и убедительными словами. Возможно ли передать, например, ночь с 8-го на 9-е января в помещении редакции «Сына отечества»?²³ Тогда все петербургские писатели сошлись здесь, чувствуя ответственность за надвигающиеся события. Самые противоположные люди толпились теперь в одной комнате, сознавая себя связанными круговою порукою. Здесь были все, начиная от Максима Горького и кончая Мережковским. В течение всей ночи велись переговоры с правительством. Наши депутаты уезжали и приезжали. Там, за оградой правящей бюрократии, все ссылались друг на друга. Как будто никто не был повинен в том, что изо всех казарм шли солдаты и что готовится расстрел безоружных рабочих. Вот эти залпы

и трупы несчастных, «поверивших в царя», были вещим знаком — особенно для поэтов.

И когда в ту страшную ночь там, в редакции «Сына отечества», Мякотин предложил немедленно захватить типографии для выпуска газет явочным порядком, без цензуры, мы все почувствовали, что началась революция.

Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной стихии, — прежде всего из ненависти к буржуазии. Я не могу не напомнить одного стихотворения поэта, которое почему-то не часто вспоминают:

СЫТЫЕ

Они давно меня томили:
 В разгаре девственной мечты
 Они скучали, и не жили,
 И мяли белые цветы.
 И вот — в столовых и гостиных,
 Над грудой рюмок, дам, старух,
 Над скукой их обедов чинных
 Свет электрический потух.
 К чему-то вносят, ставят свечи,
 На лицах желтые круги,
 Шипят пергаментные речи,
 С трудом шевелятся мозги.
 Так негодует все, что сыто,
 Тоскует сытость важных чрев:
 Ведь опрокинуто корыто,
 Встревожен их прогнивший хлев.
 Теперь им выпал скудный жребий:
 Их дом стоит неосвещен,
 И жгут им слух — мольбы о хлебе
 И красный смех чужих знамен.
 Пусть доживут свой век привычно. —
 Нам жаль их сытость разрушать.
 Лишь чистым детям неприлично
 Их старой скуке подражать.

В ту эпоху, однако, я был ближе к революции, чем Блок. Правда, я никогда не был в партии, дорожа вольностью лирика и скитальца, но связь моя с революцией была реальна еще со студенческой скамьи, а Блок в университете так был равнодушен к общественности, что по рассеянности как-то даже скомпрометировал себя в глазах товарищей во время студенческого движения²⁴. Мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока «слушать музыку революции». Правда, впо-

следствии мы стали различать разные мотивы в этой музыке и иногда расходились в их оценках.

Впрочем, наше отношение к революции не всегда могло удовлетворить трезвых политиков. Я помню наши скитальчества с Блоком в белые петербургские ночи и долгие беседы где-нибудь на скамейке Островов. В этих беседах преобладали не «экономика», «статистика», не то, что называется «реальной политикой», а совсем другие понятия и категории, выходящие за пределы так называемой «действительности». Чудились иные голоса, пела сама стихия, иные лица казались масками, а за маревом внешней жизни мерещилось иное, таинственное лицо. Вот в эти дни слагалась у меня в душе та, по слову Вячеслава Иванова, одегетика²⁵, которую я назвал «мистическим анархизмом». Мои тогдашние манифесты и брошюры (опубликованные после закрытия «Вопросов жизни») вызвали, как известно, всеобщую брань и насмешки. В самом деле, все эти тогдашние мои публикации были весьма незрелы, неосторожны и самонадеянны, но все же в них заключалась некоторая правда, никем до меня не высказанная. Первоначально Блок почувствовал эту правду, т. е. что «уж если бунтовать, так бунтовать до конца», не останавливаясь на половине пути, но потом — под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил. Это случилось спустя два года после первых наших ночных бесед о «перманентной революции».

Все эти метаморфозы наших отношений в связи с темой мистического анархизма читатель найдет в письмах Блока ко мне.
<...>

В это же время произошло мое духовное сближение с Вячеславом Ивановым, который на своих знаменитых «средах» на «Башне» (он жил в то время на Таврической улице) объединял самых разнообразных людей, начиная с Блока и кончая многими из теперь всему миру известных большевиков. Его концепция «неприятия мира» встретила с моим «мистическим анархизмом», и мы в 1906 году под этим названием выпустили одну книгу в издательстве «Факелы»²⁶. Три сборника «Факелов» стали излюбленною мишенью для обстрела критиков всех сортов и качеств. Яростнее всего восстали против «Факелов» те, кому, казалось бы, менее всего надлежало против них восставать. Тут уж было дело не в идеях, а совсем в ином, о чем говорить сейчас невозможно, да и впоследствии едва ли понадобится.

Помимо идей, параллельно с теорией, шла тогда весьма сложная запутанная жизнь. Чувство «катастрофичности» овладело поэтами с поистине изумительною, ничем не преоборимую

силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы. И в то время, как я и Вячеслав Иванов, которому я чрезвычайно обязан, не потеряли еще уверенности, что жизнь определяется не только отрицанием, но и утверждением, у Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного «нет». Он уже тогда ничему не говорил «да», ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря. Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый, загадочно-красивый, он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и, в сущности, — уже безумным человеком. Блок уже тогда сжег свои корабли.

Великое свое отрицание Блок оправдал своими подлинными страданиями. Размножившиеся тогда декаденты в большинстве случаев из-за моды «эпатировали буржуа», и с их легкой руки до наших дней возникающие «школы» продолжают свое легкомысленное занятие, даже не догадываясь, какую цену купили себе право на это отрицание старшие декаденты.

2

Мои отношения с Блоком всегда были неровны. То мы виделись с ним очень часто (однажды случилось, что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга), то нам не хотелось смотреть друг на друга, трудно было вымолвить слово и прислушаться к тому, что говорит собеседник. На то были причины.

Иногда наши разногласия достигали какого-то предела и находили даже внешнее себе выражение. Эти отталкивания случались именно около тех тем, которые казались каждому из нас самыми заветными. Таких «взрывов» в наших отношениях было три. Первый — это письмо Блока о Соловьеве; второй — отречение Блока от «мистического анархизма»; третий — спор наш об интеллигенции и народе²⁷.

Вот это последнее столкновение произошло в 1908 году по поводу доклада Блока «Интеллигенция и народ», прочитанного им сначала в Религиозно-философском обществе, а потом в Литературном обществе. Содержание этого доклада теперь всем известно, потому что в 1919 году «Алконост» издал его вместе с другими статьями Блока отдельной книжкой.

Доклад Блока был весьма примечателен своим пророческим духом. Поэт в самом деле с необычайной остротой предчувство-

вал стихийный характер надвигавшейся революции. Он был сам сейсмографом, свидетельствующим, что близко землетрясение. Чувство катастрофичности всегда было присуще и мне, — и не эти предчувствия вызвали мое возражение Блоку. Мне был неприятен в его докладе тот невыносимый, удушающий пессимизм, которым веяло от всего этого мистического косноязычия. Я тогда же устно и печатно возражал Блоку.

Теперь, конечно, я бы иначе возражал ему, но от сущности моего тогдашнего возражения я и теперь не отказываюсь. Я и теперь думаю, что, приписывая нашей интеллигенции такие свойства, как «индивидуализм, эстетизм и отчаяние», Блок глубоко ошибался. Я не отрекись от моих тогдашних слов. <...>

Но, несмотря на все наши размолвки, я любил Блока. Я понимал до конца весь тот волшебный мир, в котором жила и пела его душа. А поэт ценил во мне то, что со мною можно было говорить не по-интеллигентски, что я с полуслова понимаю его символический язык.

Но надо признаться, что тот дурной анархический мистицизм, в котором я упрекал Блока, был и мне свойствен, если не идейно, то «житейски», биографически. Это уж была болезнь эпохи. И первым ее проявлением была ирония. Александром Блоком в 1908 году была написана статья с таким же названием — «Ирония». «Самые живые, самые чуткие дети нашего века, — писал он, — поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа иронией. Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кошунством».

«И все мы, современные поэты, — у очага страшной заразы. Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне. Тою безмерною влюбленностью, которая для нас самих искажает лики наших икон, чернит сияние ризы наших святых...» «Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: “Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо”. Ведь это — крик о спасении...»²⁸

Эта жуткая ирония, которая всегда присутствует и в романтической поэзии, была культивируема всеми нами в ту петербургско-декадентскую эпоху. Эта ирония казалась необходимой, как соль к трапезе. Без нее нельзя было написать стихотворения, прочесть доклад, поговорить за ужином с приятелем. Даже влюбляться без иронии казалось многим чем-то вульгарным и неприличным. Это была эпоха петербургского альманаха

«Белые ночи»²⁹, иронического пролога к «Трагедии смерти» Федора Сологуба, где есть пародия на Блока³⁰, — это была эпоха бесконечных каламбуров и мистических двусмысленностей. Каламбуры любил Блок, но иногда он защищался от них шутками и эпиграммами. Я помню, как однажды на мой каламбур Блок ответил эпиграммой:

Чулков и я стрелой амура
Истыканы со всех концов,
Но сладким ядом каламбура
Не проведет меня Чулков.

К сожалению, это была эпоха, когда мы все злоупотребляли словами, и при этом «слово не расходилось с делом». Многие из нас «для красного словца» не жалели заветного. Это были дни и ночи, когда мы нередко искали истины на дне стакана.

Однажды, когда я писал рассказ «Одна ночь», а Блок только что написал стихи «Белая ночь»³¹ (а в это время Андрей Белый яростно бранил в «Весах» и меня и Блока)³², Александр Александрович сочинил шутовское четверостишие:

Чулков «Одною ночью» занят,
Я «Белой ночью» занялся, —
Ведь ругань Белого не ранит
Того, кто все равно спился...

В старинных учебниках истории всегда можно было найти главу «Распущенность нравов накануне революции». В этой исторической обстановке Александр Блок писал свой «Балаганчик», «Незнакомку» и позднее «Снежную маску». В апреле 1912 года на третьей книге своих стихов, переизданной «Мусagetом», Блок сделал мне надпись: «Милому Георгию Ивановичу Чулкову на память о пережитом вместе». Так это и было: самое страшное и опасное, что в те дни соблазняло души, воистину нам пришлось пережить вместе с ним.

Однажды Блок, беседуя со мною, перелистывал томик Баратынского. И вдруг неожиданно сказал: «Хотите, я отмечу мои любимые стихи Баратынского». И он стал отмечать их бумажными закладками, надписывая на них названия стихов своим прекрасным, точным почерком. Закладки эти почти истлели, и я хочу сохранить этот список любимых Блоком стихов. Вот эти три стихотворения: «Когда взойдет денница золотая...», «В дни безграничных увлечений...», «Наслаждайтесь: все проходит...»³³ Этот выбор чрезвычайно характерен для Блока — смешение живой радости и тоски в первой пьесе, «жар восторгов

несогласных», свойственных «превратному гению», и присутствие, однако, в душе поэта «прекрасных соразмерностей» — во второй и, наконец, заключительные строки последнего стихотворения, где Баратынский утверждает, что «и веселью, и печали на изменчивой земле боги праведные дали одинакие криле»: все это воистину «блоковское». Быть может, задумавшись над этими стихами, Блок впервые замыслил ту тему, которая впоследствии стала лейтмотивом его «Розы и Креста»:

Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно...
Радость, о, Радость-Страданье,
Боль неизведанных ран...

Впрочем, надо с большой осторожностью говорить о «замыслах» Блока. Он всегда исходил не от замысла, а от образа-символа. Поэт «мыслит вещами», уподобляясь иному, безмерно более высокому источнику бытия, которому приписано это свойство мудрецами. Так и Блок, даже впадая в парадоксальные крайности, всегда стремился освободиться от «смысла». Он сам придумал иронический термин: «священный идиотизм». Однажды он воистину злоупотребил этой двусмысленною добродетелью. В один прекрасный вечер он объявил, что у него в душе возникла тема драматического произведения. На вопрос: «Какая же это тема?», Блок ответил очень серьезно: «Аист на крыше и заря». На шутливое замечание, что это, пожалуй, маловато для трагедии, Блок стал уверять, что ничего другого у него нет в душе, но что «заря и аист» вполне достаточны для пьесы. Однако из этого «аиста» ничего не вышло.

Верленовские nuances³⁴ не исключали в Блоке любви к точности. Только блоковская точность была иного порядка, чем точность внешних и трезвых душ. Правда, Блок не достигал «математического символизма» Эдгара По, однако в его поэзии, особенно в эпоху «Ночных часов», стали преобладать ямбы — кристаллы прозрачной ясности и строгой чеканки.

Но Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям. «Геометризм», свойственный в значительной мере Вл. Соловьеву, был совершенно чужд Блоку. Поэт любил не самого Соловьева, а миф о нем, а если и любил его самого, то в некоторых его стихах, и в его письмах, и даже в его каламбурах и шутливой пьесе «Белая лилия»³⁵. Едва ли Блок удосужился когда-либо прочесть до конца «Оправдание добра»³⁶. Блок не хотел и теократии: ему надобен был мятеж. Но чем мятежнее и мучительнее была внутренняя жизнь

Блока, тем настойчивее старался он устроить свой дом уютно и благообразно. У Блока было две жизни — бытовая, домашняя, тихая и другая — безбытная, уличная, хмельная. В доме у Блока был порядок, размеренность и внешнее благополучие. Правда, благополучия подлинного и здесь не было, но он дорожил его видимостью. Под маскою корректности и педантизма таился страшный незнакомец — хаос.

В прекрасных анапестах стихотворения «К Музе», написанных уже в 1912 году, Блок сам еще раз подводит итоги своей жизненной судьбы. Кто была его Муза?

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты и Муза, и чудо,
Для меня ты — мученье и ад³⁷.

Недавно я перечитал его «Розу и Крест». Это — одна из многих попыток Блока выйти из магического круга иронии и отрицания. В жертве Бертраана поэт мечтал найти наконец оправдание и смысл нашей жизни. Но, должно быть, не положительное утверждение бытия, а его переоценка до конца свойственны были хмельному сердцу поэта.

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь.

Июль 1924

